
Андрей Лупан
Добро носящий











ПОЭЗИЯ ДОБРА И ТРУДА



едавно, отвечая на анкету журиала «Юиость», Андрей Лупан писал: «Год дебюта? Если по первому напечатанному стихотворению — то зто 1932 год. Старая Бессарабия, бедственная земля. И может быть, самые обездоленные на Балканах люди.

Время — пресловутый мировой кризис. Захолустье. И мы, грамотиые ребята, желающие «людьми зваться», а в сущности — отколовшиеся пасыики безграмотной деревни. . .»

Тут надо читателю кое-что разъяснить, дать с самого иачала короткую биографическую и историческую справку.

Андрей Лупан родился в 1912 году в бессарабском селе Михулены. Едва научился говорить — разразилась мировая война. Когда мальчику пошел шестой год, началась революция.

Но она вскоре отхлынула, была затоптана: Бессарабию заняли войска королевской Румыиии... Советская власть вериулась в этот край лишь через двадцать два года. И снова — спустя год — войиа. . .

Андрею Лупану к этому времени около тридцати лет, у него за спиной немалый жизненный опыт: он еще студентом вступил в ряды подпольной Коммунистической партии, участвовал в революционном движении. Потому без колебаний определилась его судьба — неразрывная с судьбой родного молдавского края и большой, вновь обретенной Родины — СССР.

Первая книжка стихотворений Андрея Лупана вышла в 1947 году, в тридцать пять лет. Не рано. Зато он вступил в литературу зрелым, сложившимся поэтом. Еще через тридцать лет он станет лауреатом Государственной премии СССР.

. . . Рабочий стол писателя. . . Его борт — как берег морской. Ежедневный прилив газет, писем, книг. Нахлынув, волна откатится. Иногда мелочи как песком занесут. Тогда зло разгребаешь стол, смахиваешь с него все лишнее. . .

Иногда стол стискивает тебя прямоугольником своих бортов, становится тесно, душно. Бежишь от него к людям, дорогам, садам и виноградникам. Убегаешь подальше и — находишь его. Оказывается, он не обрывается на своих краях, а распахивается незримо, охватывая всю родную землю. . .

Вряд ли в Молдавии найдется уголок, где не знают Андрея Лупана.

Знают не только по стихам, но и лично. Поэт много и неутомимо ездит.

Он выступает в городах и районах республики и просто живет в том или ином селе, как свой, знающий цену крестьянскому труду. Да, многие лично знакомы с этим высоким, неторопливым в жестах и словах человеком, знают его сдержанную, ворчливую нежность, его застенчивую улыбку, его прямоту и упорство, его энергию, когда дело касается судеб людей. Он долголетней дружбой связан с виноградарями, агрономами, председателями колхозов. К нему идут и молодые писатели и опытные как к одному из руководителей Союза писателей МССР и академику. . .

И откликается он на просьбу или дело «не по службе, а по душе».

. . . мне отраднейший из дней,
Когда мой труд всего трудней,

Когда забот не перечесть
И до любой мне дело есть...
Всё, чем живут мои друзья,
Всё, без чего и мне нельзя.

Все это так. Но рабочий стол никогда не отпускает тебя слишком далеко и надолго. Он отбрасывает тебя бумерангом, чтоб вернуть к себе. Он — главное. Он твердит простую, но неоспоримую истину: то, чего не напишешь ты, никто не напишет. То, чего не скажешь людям ты — останется несказанным...

И опять каретка пишущей машинки проворачивается, как прокатный стан...

Перебеленные листы тут же покрываются пометками, вычеркиваниями, поправками.

Одни вернутся в ящик — дозревать, другие, скомканные, ухнут в корзину для бумаг и только двум-трем листкам повезет: они, пройдя сквозь десятки напластований, останутся на столе, как на взлетной площадке. Несколько дней последних испытаний на прочность и — в добрый путь!

Идет рассвет за ночью вслед.
Добро пожаловать, рассвет!
Давай-ка, солнце, не тяни —
Гони коней своих, гони!

Как это разительно непохоже на тяжкие слова крестьянина, проклинающего солнце:

Жестокое светило!
Какою обернулись болью
пустыня неба и пустыня поля.
Весь мир тобою залит,
но дар смертелен твой...

Кажется, будто эти стихи принадлежат двум разным поэтам.

Но между первым и вторым стихотворением Лупана — двадцать лет. Жизнь неузнаваемо изменилась. Конечно, изменилось не только содержание стихов Лупана, изменилось и их звучание. Но тут уж не скажешь — неузнаваемо. Поэта Лупана всегда можно узнать, его голос с другим не спутаешь.

В поэзию Лупана, пожалуй, не влюбишься с первого взгляда. Она завоевывает тебя медленно, зато глубоко и прочно.

Андрей Лупан — поэт особого склада. Может быть, его поэзия чужда красивостей, потому что она под стать скромности молдавского народа, трудолюбивого и щедрого душою. Того народа, который веками тяжелым трудом обрабатывал свою единственную землю и веками защищал ее. . .

А может, потому поэзия Лупана чужда красивостей, что начал он писать стихи на земле нищей, почти безграмотной и с болью и гневом обличал того, кто тогда сочинял красивые лживые песни:

С презренного Олимпа твоего,
куда доходит только пар обмана,
сойди на холм земной среди бурьяна,
где трудный след от плуга моего.

Время, выпавшее на долю молдавского поэта, делало крутые повороты и петли, как Днестр перед морем. Но вышло наконец на простор. Как Днестр — река стонов, река-граница, река-фронт и, наконец, советская мирная река-труженица. Я не побоюсь сказать — красивая река. Всякое бывает и с временем и с человеком. Потому не ищите в творчестве Лупана однотонности или главенствующего мотива.

У него есть стихи светлые и торжественные, озорные и грустные. Но во всех случаях зримость, конкретность образов — характерная черта поэзии Лупана. Этим определяется и его умение создавать живые образы людей во всей социальной правде и сложности их психологии.

Андрей Лупан — мастер поэтического портрета. В его стихах — от самых ранних до недавних — мы встречаем целую галерею типов, людей из народа, полнокровных характеров. В них и знамение времени и судьба народа. Из героев стихотворений Лупана наберется, пожалуй, целое село.

Поэма «Баллада о Василе» — тоже портрет, портрет отважного человека, народного героя. Поэма рассказывает о революционных событиях в молдавском селе 1917—1918 годов. На первый взгляд сюжет поэмы может показаться знакомым: солдат возвращается с фронта империа-

листической войны, поднимает родное село на раздел помещичьей земли, организует власть первого Совета крестьян-бедняков. . .

Да, так бывало в тысячах мест восставшей России, об этом не раз рассказывали историки и писатели. Кажется, трудно добавить что-либо к уже известному, отважиться писать на тему, которая давно исследована и художественно раскрыта.

Однако, читая поэму Андрея Лупана, явно ощущаешь ее своеобразие. Это происходит не потому, что поэт старается писать иначе, чем другие. Мы не видим никакого поиска преднамеренной оригинальности. Более того, стихи Лупана звучат в традиционном ключе молдавской народной баллады, чураются новизны выражений или броских образов.

И все-таки поэма никого и ничего не повторяет, она волнует чем-то особым, своим, глубоко пережитым. Она заставляет задуматься, тревожит неуловимой сменой радости и печали, внешней простоты и внутренней сложности.

Разгадка проста. Мастерство художника обращено непосредственно к исторической правде и к правде собственных чувств. А правда того времени полна драматизма: первые ростки Советской власти в Молдавии были, как уже было сказано, жестоко затоптаны. О героях той короткой революционной весны до сих пор мало узнано и рассказано.

Подвиг молдавского парня Василе почти безвестен. Поэт находит в его гибели предвестник будущей победы, а в торжестве его подвига слышится боль за горькую долю смельчака, решившего в одиночку бросить вызов судьбе.

Так социальное содержание поэмы обогащается нравственным и философским смыслом, становится емким и неоднозначным.

Важно не само развитие сюжета, а отношение к нему, выраженное в поэтических отступлениях, которые как бы затормаживают сюжет.

Так поначалу бытовой, негероический, непритязательный рассказ постепенно все больше и глубже завоевывает наше доверие, незаметно обретает крылья, становится поэзией.

Естественность интонации — главная забота Лупана.

Почти парадокс: поэт Лупан чуждается поэтичности. Он с недоверием относится к тем ловким версификаторам, которые мгновенно перенимают любую технику, виртуозно играют на всех инструментах, но в постоянном беспокойстве то и дело оглядываются: а что другие? Как бы не отстать, не упустить чего...

Лупан создает поэзию не из самой поэзии. Он добывает ее из камня, из пота, из пшеницы, из слезы, из молодости и молчания...

Переводы его стихотворений, приходится сознаться, удаются редко. Потому что у Лупана иная, для нас непривычная школа стиха.

Есть тайны языка, не поддающиеся переодеванию. И читать его строки надо по-лупановски: медленными, но упорными толчками. Глуховатым, негромким голосом, без всякой наигранности, без подчеркивания ритмического рисунка.

Он не просто пишет стихи, он выращивает их, как деревья. Они обрастают кольцами годов, не торопятся давать плоды, но уж когда тяжелеют от плодов, то сполна!

Он мучительно возделывает свой сад. Если уж что вырывает — так с корнем! Но поглядите — он то придирчиво подстригает деревья, то дает им буйно и вольно разрастись. Противоречие?

Совершенно верно. Есть у него образ — «набросить аркан на взмыленную гриву грядущих дней». Не случаен такой образ.

В самом поэте — и боренье страстей и суровая дисциплина. Он и стихия, он и узда.

Путь поэта не прямолинеен. Но каждый поворот — верный или ошибочный — равно выстрадан. Потому даже и сейчас, когда он нет-нет да и напишет стихотворение риторического плана — оно ему дорого, в нем каждое слово высечено из веры и убеждения.

Потому что он с полной ответственностью относится к любому делу и требовательность к себе у него одна: и для поэмы и для выступления в газете. И все-таки...

Есть такие часы в творчестве Лупана, которые искрятся блестками неповторимого молдавского юмора. Десятки эпиграмм и пародий Лупана на братьев-поэтов могут составить отдельную книжку.

Это я к тому, чтобы читатель не слишком уверовал в образ сурового каменотеса. Всякое сравнение хромает!

. . . Андрей Лупан за рабочим столом. Справа — бюст поэта Михаила Эминеску, слева до самого потолка — книги. Тишина. Как бы ни был творческий труд тяжел — его жернова беззвучны. . .

К. Ковальджи

ПАЕК ДОВЕРИЯ

Отсюда пойдут смельчаки,
по-хозяйски взвалят на плечи заботы,
пройдут, молодою волей крепки,
сквозь жизни соленые водовороты.

Возьмут они из дому утром рано
хлеба краюху — да покрупней —
и мечту, чтоб накинуть арканом
на дикую шею завтрашних дней.

С привычным уютом в разладе,
простясь с загрустившей родней,
прорежут бесплодные пади
упрямою бороздой.

Отправятся в путь — и точка,
быстрей, чем положено, и прямей
люди, чей нрав будет жестче,
сердце, быть может, — нежней.

Земля их такими ждет,
стихи их такими увидели:
мечтателями — в каменоломнях работ,
на кручах свершений — мыслителями.

Выдайте им доверия хлеб насущный
среди достойной простой тишины —
необходимый паек для трудов грядущих
на вечной земле страны.

1962

НОША СВОЯ

Пусть моя седина тебя не обманывает
и мою искушенность в расчет не бери —
втихомолку память моя перемалывает
деревенские давние сухари.

В этом и суть моя, и основа.
Она с рожденья в моей крови,
меня швыряет снова и снова
в гущу драки и в объятья любви.

Это помесь зерен ржи и пшеницы,
которую издавна сеяли мужики.
И я засеваю ею мои страницы,
где наугад, где по метке строки.

А рассудительность, хоть она и чинна,
все же не без смеха и не без грехов:
за нею скрывается разная чертовщина —
причина всех моих шишек и синяков.

И те, кто меня за отсталость жалеют,
очень тонкие, иронические умы,
думаю, и они бы не прочь пощедрее
поживиться из небогатой этой сумы.

Так желаю тебе, товарищ, трудной удачи!
Вместе со всеми полную ношу бери
у этой земли, из которой так или иначе
каждый из нас добывает свои сухари.

1964

ЦЕПИ



А жизнь сулит
провалы и высоты...
А на вершинах ветер —
не ступеньки.
И падаешь.
Ползешь на четвереньках.

Я долго вырывался из болота,
чтобы навек
забыть к нему пути,
чтобы в конце концов
себя найти.
Найти не для того,
чтоб мною кто-то
командовал, справляя торжество...
Не для того, чтоб мне
душить его...

Когда теряют мысли
цель и прыть,
то что они
способны осветить?

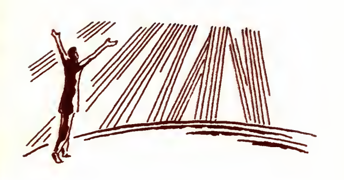
И путь мой в мире,
если не борюсь я,
осмысленней ли,
чем стезя моллюска?

Но жив рассказ
из глины и металла.

И вот она — ладонь,
каких немало...
Ей неизвестность
сокрушать лопатой,
чтоб в цепь связать
причину с результатом.

Чтоб знать,
зачем теснит тебя закон
под злые жернова времен.

1933



СБУДЕТСЯ!..



**Нагрянет день —
вам этого не миновать!**

**Осмелитесь,
разгневанные, встать!
Решитесь
наконец свой сон прервать!**

**Пойдете псам цепным наперекор,
как вызов новых берегов услышите,
и молнии вам засверкают с гор
призывом к бунту над ночными крышами.**

**А позади — закат долины тихой,
а впереди — заря мечами вспыхнет,
и вся земля от боли содрогнется,
колючая, она вас рано встретит,
и мужеством в вас правда отзовется,
по воле жизни и по воле смерти.**

С той стороны качнутся зеркала
с застывшим в них прозрачнейшим рассветом.
С укором жалким, — так их жизнь прошла, —
отцы посмотрят, отвернутся дети.

И сумерки угаснут в крепостях,
где с идолами грохнется всё вместе —
глубокие поверья,
бесплодные деревья,
смирение покорных мыслей.

Да будет так!

Сутулые в рассвете канем,
пророк наш гибнет — так велит судьба,
мы ритуально пурпурные капли
отторгнем с окровавленного лба.

Но мы, не дрогнув под его законами,
все будем жить, в его закон закованы,
изгнанники из призрачных Аркадий,
в разумный век стальной,
жестокой правдой необкраденный.

1933

З Н О Й



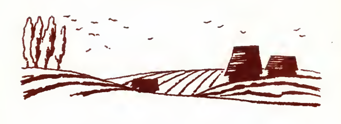
По карте Бессарабию исследуй,
внимательно исследуй —
вот она:
иа юге голод,
на востоке беды. . .
Пустыииая и грустиая страиа.

У хутора не ходят хуто̀ряие,
дома забыли
прежиее тепло.
И лишь сердца
сожмутся иад бурьяном,
чтобы с землею
слиться тяжело.

Ворота века
над безлюдиой степью. . .
И, как ииые дии ни торопи,
о чем ты мне споешь,
душа столетья,
бредущего по выжжеииой степи? . .

1934

ЧУДНОЕ СЕЛО



Село из лощины,
что с ним случилось?
Знаю одно:
с полей народ созывает оно.

Люди
как бы конец привычной судьбы несли;
казалось, глаза предвещали бурю,
сверкающую вдали.

Там, где призыв пробивался,
краток и крут,
замер разорванный надвое труд.
Плуг деревянный покинут:
не хотят надежды
тащить его бороздою,
как прежде.

К самому тяжкому полюсу мысли
в тумане вечернем
тянутся стражи
измученной черни.

Слышно,
как в двери скребется беда,
встав на порог,
слышно —
сочится в сердца
молчания едкий сок.
Стонут люди у очага
от голодной тоски,
лица уткнув в каменные кулаки.

Скажи, кроткий читатель,
что сделал бы ты,
псами затравленный из темноты,
если бы в это чудно́е село
к ним, к твоим тебя занесло?

Когда, открывая рукою чужой
ржавый засов у двери небольшой,
по шатким ступенькам
спустишься в ад нищеты,
скажи,
что сделаешь ты?

1934

СОЛНЦЕ



Здесь у нас
подыми глаза на рассвете,
усталый человек,
подыми их с тропы немоты одинокой
к широкой симфонии солнца.

У нас, дружище,
брат вековечный земли,
у нас и деревья, и травы,
и воды,
и дети
ради солнца живут,
ради этой надежды великой,
ради огненной крови восхода,
ради доброго утра жизни.

Возьми свой старый топор и соху,
возьми в свои черные руки
и кликни крестьян с хуторка,
зови их на гребень холма,
чтобы встретили солнце
со всем, чем владеем на свете
мы все.

Потому что, послушай,
брат мой суровый и хмурый,
для нас,
для нашей работы земной,
восходит
надежда на солнце и утро.

Возьми же мотыгу, —
для этой встречи
мы можем поднять ее флагом,
возьми же мотыгу, батрак,
зови за собой хуторян,
пусть выйдут все вместе на холм,
потому что горит уже грива
восходящего солнца,
и горе тебе, и беда,
если ты опоздаешь в дорогу.

1937



ТВОИ СЛЕДЫ



Мария, за той чертой
к тебе прихожу я опять
в долины тропинкою старой,
и нет драгоценного дара,
чтоб в руки твои передать.
Я даже мечты не принес —
гирлянды сухие от терний,
чтоб их отряхнуть на холме,
где некогда ты в полутьме
ступала легко в час вечерний.

Мария застенчиво-смелая,
чей черный венец погасил
твой образ, что высечен был
из лунного мрамора белого?
Проклятьем каким осужден
я слышать средь этих долин
твой горестный голос из темных глубин,
когда по деревьям проносится стон?
К чему потревожен я зовом,
забытым давно, запоздалым?
Мария, заставь ты умолкнуть то слово,
которого ты не сказала.

К чему?

Не иошу я с собой
по старой тропе к косогору
ни прежней тревоги с тоской,
ии камня страданий, который
я мог схоронить бы с тобой.

В деревне — узнай лишь, что там
отец твой выходит к закату,
как вор молчалнвый нз хаты,
и наверх уходит к садам.
Мария, ои крестится тихо
обветреииой, жесткой рукой,
ои только крестится тихо,
одии иа холме —
с ушедшею в землю душой,
чтоб видеть твой образ святой.

1937



О Т Е Ц



Отец, на земле униженный,
страною своею обиженный,
непризнанный,
с жестким лицом,
и в сердце — горечь полынная,
и руки — морщинами длинными
изрезаны, будто резцом.
Насущного хлеба ржаного, черного —
труда твоего упорного —
и в холод, и в летний зной
нет в доме.
Бесплодной нивою
надежды твои счастливые
засохли в стране родной.

Зачем ты молился,
и молчал,
и трудился?

Снова весной
боярами добрыми
твои расхвалены доблести:
«Молчишь и работаешь ты
с рассвета до темноты!»

За это господское одолжение
плуг приводи в движение,
паши, хозяин земли,
чтоб их богатства росли.

Скотина усталая впереди,
а ты, хмурый сеятель, позади...
Удачи тебе и награды.
Работай на них,
сил не жалей,
ты —
неизвестный отец полей,
крестьянин послушного стада.

1937



ПРЕЗРЕННЫЙ ОЛИМП

С презренного Олимпа своего,
куда доходит только дым обмана,
сойди на холм земной среди бурьяна,
где трудный след от плуга моего.

Ты знаешь:
хлеб взойдет, плоды созреют,
на ниве мы взрыхляем веру эту.
Скажи хоть слово мужества скорее,
чтоб этим словом были мы согреты.

Бескрылый стон, и подленькую жалость,
и мысль, что тяжела от ожиренья,
кладешь на стол — и это все слежалось
с твоею зарифмованною ленью.

Что можешь сделать ты?
Нет места сделке.
А ты, как бард, что стал в передовые,
живешь в стихах запутанных и мелких —
ты ими лжешь народу не впервые.

А твой народ стоит у эры новой,
и он, творец, возьмет победу в руки.
Не оскверни же преходящим словом
его надежды, кровь его и муки.

Что можешь сделать ты?
А разве слово
не та же завоеванная эра,
построенная трудно и сурово
в столетьях человеческою верой?

Себя зовешь ты слова рулевым.
Достаточно в тебе ли человека?
И как, скажи, ты пользуешься им,
дарованным тебе людьми и веком?

Здесь, под твоим Олимпом у подножья,
разгулом смерти твой народ исхлестан.
Гляди — не содрогнешься ль? —
голод гложет,
людей бичами гонит на погосты.

Что можешь ты?
Но все ль, что можешь сделать,
ты страждущему люду приносил?
Ты отдал ли бестрепетно и смело
все силы до последней капли сил?

Горел ли ты с голодной нищетой,
расслышал ли ты рядом в детском крике,
как тщетно ищут в памяти пустой
заплесневелый ломтик мамалыги?

Ты на презренной выси поднебесной,
где бродит фантастический туман,
разнеженно раскачиваясь в кресле,
рифмуешь вновь измену и обман.

1935



ПИСЬМО С ХОЛМОВ



Я приглашаю вас
в конце зимы,
в начале марта,
на мои холмы,
когда земля,
как смоляная лодка,
ломая тонкий лед,
от берегов отчалив, поплывет. . .

Тогда моих следов
держитесь четко.
Я щедрый.
Я с собою вас беру,

чтоб на хрустальном постоять юру,
где ни тропинок нет,
ни вех дорожных,
где ни одна душа не встретит нас,
где легкий след
впечатан в снежный наст
от мягких лап, ступавших осторожно.
Там вдоль по склону,
молодым леском,
с опаской воздух нюхая,
к селенью за добычей
прямиком
прошла вчера зверушка остроухая.

Не дремлющий до утренней звезды
март приковал к снегам ее следы.

Пусть люди видят это —
и в поле и в лесу
дозор свой до рассвета
я — месяц март — несу.

Послушав голос мартовской зимы,
пойдем неторопливо
дальше мы,
чтоб летопись природы перечесть,
услышать,
как в земле прогретой всходы
просят есть.
Овсы ли это, рожь или пшеница, —
как хочешь ты незрячих окрести, —
их подняла
весенняя денница —
пусть грудь земли сосут,

чтобы расти,
чтобы вздымать колосья,
как знамена,
в пыли цветочной, в утренней росе, —
так пахари
ещё во время оно
велели им на злачной полосе.

Я к солнцу проведу вас,
чтоб с высот
увидели вы, как оно встает,
как сотнями каленых стрел оно
пронзает рощу, всполошив пернатых,
и, дымкою парной обнесено,
всплывает,
как на шелковых канатах.

Уже пора!
Разведчики весны —
подснежники стучатся в ваши двери...
Но вам приметы эти не ясны,
встречать вы всё привыкли
с недоверьем?
Вам холодно —
об этом вы твердите...
Неволить не хочу.
В конце зимы,
в начале марта на мои холмы
я вас не приглашал —
не приходите.

1941

СТРАЖА

Еще мы постучимся в дверь к тебе,
войиою обездолеииая мать...
Гадать ли иам теперь,
как ты пойдешь засов отодвигать?
И ие поверишь...
Сколько было их,
тех, кто стучался в дверь твою прикладом
и в твоего молчания лампаду
швырял камеиья выкриков чужих!..

В суровый час, когда войиа возиикла,
ты встала у дверей,
прямая перед хатою твоей,
и головой седою не поиикла.
Враг зто видел, и ему был страшеи
тот взгляд спокойиый, что стоял иа страже,
и ои, как трус, ударил потому,
что поиял — ие согнуть тебя ему.

Тогда ты веру светлую свою
в душе укрыла, как святое зиамя,
чтоб сохраиить живым в родиом краю
тот уголок заветиый, где часами
без слов вела беседы с сыиовьями.
Когда же ты, гоиимая, ушла
из дома, из родимого села,
пропущеииая сквозь жестокий строй,
тот уголок души взяла с собой,
и если иоги в кровь ты и разбила,
то боль свою ие выдала, забыла,
простой листок лишь к раие приложила.

Какою сталью
свою ты силу оградила, мать,
что не могла война тебя сломать?
Не из пожара ль, что спалил село,
у дома стать решение пришло?
Иль, может, охранять порог родной,
подобно тем акациям, что у ворот,
ты сговорилась наперед
с глубокими корнями под землей?

Весь век стоять тебе в дозоре, мама,
с ручьями рядом и землей,
как завещал железными строками
твой жребий непреклонный и простой.
Тебе стоять...
А мы прорвем границы,
решетки смерти сдвинем, чтоб опять
дорогами войны к тебе пробиться...

А может быть, давно,
с горящей хатой заодно,
из пламени воздетою рукой
своих сынов звала ты,
чтоб в день возмездия святой
не избежал палач расплаты!

1943



ПРОХОДЯТ УБИЙЦЫ

Лампу гаси,
задувай огонь.
Слышишь, псы
брешут кругом?

Жуть берет
от их голосов.
Смерть — у ворот.
Дверь — на засов!

Чуешь сквозь мглу —
это воочью
рыскает ночью
зверь по селу.
Это фашизм следом идет —
черная тень
возле ворот.

Крадется во тьме,
близясь к стене,
может, к тебе...
может, ко мне...
Всех — на учет,
не ровен час —
гибель несет
всем, не скупясь.

Слышишь, провыл
из темноты?..

Там, где он был,
страшны следы;
он побывал,
он убивал...

И не поможет
жалобный стон:
раньше иль позже
явится он.

Вот он идет.
Чей же черед?
Тень по стене,
вот он во тьме.
Может, ко мне...
Может, к тебе...

Слышишь, псы
скулят по ночам?
Блещет, не сыт,
клык палача.
Смело, рывком,
сорви ты запор.
Рука — крепка?
Бери топор!
Ты не робей —
в оба гляди.
Ката убей и в лес уходи!
. . . .

В лес уходи!

1943

ВСТУПЛЕНИЕ В БАЛЛАДУ



Только лишь солнце зашло —
сумерки враз наступили
и захлестнули село,
черной водой затопили.

Трое идут в темноте.
В ночь убегает дорога.
Кто они, путники те, —
нам неизвестно до срока.

Вот поднялись на откос,
воду из фляги отпили.
Тихо один произнес:
— Вот где Марию убили!

Смотрит он в черную тьму,
будто бы с кем-то прощаясь,
то ли к себе самому,
то ли к друзьям обращаясь.

«Трижды на склоне горы
грозди налиться успели.
Трижды с той самой поры
наши орехи поспели.

Значит, от нас навсегда
ты отошла без возврата

и не придешь никогда
с нами на сбор винограда. . .»

Тропка лесная узка —
тени их движутся вместе.
Их подгоняет тоска,
сердце зовущая к мести.

Тише, печаль, помолчи.
Смолкни до срока, обида.
Вот уж и скрылся в ночи
холм, где Мария убита.

. . . .

Душит захватчиков страх.
Склады в ночи полыхают.
Только на наших холмах
мстителей лес укрывает.

1944



РОДНИК ДЕТСТВА



Кристалл, по капле собраииый
в ладонях глии,
процежениый сквозь чистые пески,
иа плитах у подиожия Молдовы,
родник прозрачный,
услышанный в глубииах череиками
винограда,
корнями горькими черешен. . .

Ты сквозь холмы проиес свою прохладу,
пока тебя учуяли колодезиик Зииовий,
и отец, и другие сельчане,
открывшие воду, —
в желобах пусть журчит оиа для людей.
Наклоиись, человек натрудившийся, пей,
пои скотину, дай ей отдых.

И вышел ты, родник, на волю,
как трудовое дело земляков,
свидетельство без слов
простой крестьянской доли.

Неугомонные сыны земли,
мы воробьев по рытвинам пугали
и, прибежав сюда, усталые, в пыли,
к твоей глубокой тайне припадали.

С тех пор,
как выбитый большак
нас за ограду звал резвиться,
дразнить по всей околице собак,
когда не знали мы другой границы
для всей земли окрестной, кроме
холмов овражистых на окоеме,
когда гуртом в крапиве у дорожек
искали, где засел клубком игластый ежик, —
с тех пор мы по тебе равнялись, ты
привил нам первый смысл добра и красоты,
когда ты, разыгравшийся в ручей,
шел к жажде, спрятанной в глуби корней.

Ты видел труд и пот обычный,
и горечь доин, и смех девичий,
и выкрики парней в горячей хоре [1],
и жалобы, проклятия крестьян,
и женское непонятое горе —
все отражал зеркальный твой кристалл,
в себя вобрал ты, человечный, кровный,
родник немногословный.

---

[1] Хо́ра — молдавский народный танец.

Вдали сегодня стонешь под пятой,
и попран камень твой незваною ордой,
осквернена твоя святая чистота
паучьей тенью крючковатого креста.
Но пробил час пришельцев, пробил час,
а ты останешься навек в себе у нас,
и вот мы в эту осень
опять тебе приносим
любовь, что выросла вдвойне,
и силу, закаленную в огне.

Руками, обожженными в сраженьях,
лбом окровавленным мы завтра припадем
к твоей прохладе и благословенью,
и, возвратив навеки отчий дом,
мы заслужили счастье снова
обнять детей,
и матерей,
и труд заветный,
и Молдову.

1944



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Опустошенный край родной,
мой сад сухой, нагие стебли,
Молдова, найденная в пепле,
благословляю образ твой...

Их сколько здесь прошло, врагов,
топча твое святое поле?
Под тяжестью чужих шагов
ты раскрывала им могилы
на ветровом своем раздолье.
И если яд тебе сполна
вливали в раны и ожоги,
ты мужеству была верна:
и не было в лесу дороги,
и не было в ночи мгновенья,
где б ты не встала пред врагом
литой скалой сопротивленья.

Опустошенный край родной,
молдавский край неукрощенный,
в который раз уже весной
твои оделись снова склоны
клубами белыми паров
и древний Днестр бросает пену
через объятья берегов?

Вновь темным слоем лед идет,
стремится к морю ледоход,
вот этой новою весной,
обуреваемой войной.

И а этом праведном бою
непобедимый дух страны
возвысит правоту свою.
Твои ведь братья и сыны
пришли, неся сквозь гром и пламя,
освободительное знамя.

Освобожденный край родной,
народ непокоренный мой!
Здесь снова песни будут литься,
здесь снова будут весны длиться,
к нам прилетая каждый раз
на добрых крыльях журавлей,
и сеятель среди полей
их встретит вновь с рукой у глаз...
И день за днем
и ночь за ночью,
поверив в солнце и ветра,
увидят люди взрывы почек
на месте этом, где вчера
был различим метели почерк...
А ты а грядущее шагнешь,
Молдавия,
и с новой силой
свои ты дойны пропоешь,
и свежей зеленью зальешь
врагов
бесславные могилы.

1944



КОСОВИЦА



На полях хлеба созрели.
На косьбу!
На косьбу!
Вилы, косы зазвенели,
где-то девушки запели —
все покинули избу.
Мы спешим с косою острой —
наше место на покосе!
— Подожди-ка.
— Эй, живее!
Прозеваем косовицу! —
А Ипат на печке спит.
Третий сон бедняге снится.
Кот мурлычет,
он — храпит.
Эй, Ипат,
вставай, Ипат.
Звезды в небе не горят!
Поскорей отбей косу,
солнце ест уже росу.
А он на бок повернулся,
чтобы блохи не кусали.
— Тише там, чего пристали,
турки, что ль, на вас напали? —
А над ним смеются бабы:
— Тьфу,
хоть хворь тебя взяла бы!
Вырос этакий бугай.

Что возьмешь с него?
Леитяй! —
Через час — заря над лугом.
Тарахтит косилкв глухо.
— Эй, нажми!
— Не отставвй! —
Хлеб в снопы
девчата вяжут,
знай себе
косой махай!
Где махнул —
пшеница ляжет
золотистою копной,
впереди тебя — раздолье,
сзади — стриженое поле,
зной звенит над головой...
Перекур, — попили воду
и пошли вторым заходом.

А когда кончвли ряд,
глядь — плетется наш Ипат.
И крнчит народ:
— Ребята,
зй, не сглазить бы Ипата! —
Ну, в он в траву садится:
как к участку подступиться?
Вот отсюда?
Вроде трудно.
А оттуда?
Вроде худо...
Люди в шутку говорят:
— Отдохнул бы ты, Ипат,
ты, бедняга, уморился,
ты на совесть потрудился. —

И смеются в полдень люди:
— Тут аршин, два локтя будет. . .
— Будет больше, не шучу,
сколько зайцу по плечу. —
Хоть и был Ипат бесстыжим,
но обиды не стерпел:
— Что я — хуже, что я — рыжий,
что я — лодырь,
кто посмел? —
Он бровями двинул грозно,
да как хлопнет шапкой оземь!
И вошел с косою в рожь,
а коса острей, чем нож.
И со свистом
косит чисто
та коса.
Шелестит
и тает быстро
полоса.
А в округе колосистой
голоса:
— Эй, сюда, скорей, ребята,
поглядите на Ипата! —
А Ипат идет-играет,
вихрем носится коса
и сверкает
в синеве. . .
Полоса,
другая,
две. . .
Пот густой с него струится,
он глядит на наши лица
и кричит: — Я все скошу,
я вам, черти, покажу!

1945

ТОСТ

Приветствую виием почтеииых стариков,
что счастья нашего основу заложили,
лопатой взрыли тук иетроиутых холмов
и, как лозу, надежду посадили!
И труд отрвдеи был рукам крестьяиским сильиым:
вы верили, что ои оплатится добром!
Вы видели, трудясь, и урожвй обильиый,
и сок, струящийся по желобу давильии,
в живом воображеиии своем —
кристалл виив,
которым чаша чистая полна, —
от солица, заступа и глины
рождеииые топазы н рубииы.
Ведь зто вы,
сидящие передо мной,
связали иашу жизнь с лозою виноградиой
и с зтой, прежде горькой, безотрадиой,
что звали мы всегда своей землей!

Я клаияюсь вам, сверстиики мои,
зв то, что вы их труд вдвойие трудом почтили,
что вы завету их ие нзмеиили.
Когда удар иавис над нашей жизнью
и был пожаром край родиой объят,
когда фвшист топтал поля отчизны,
и сердце наше,
и вииоград, —
иа бой мы встали
едииой сталью.
И если даже в муках и стонали —
всё выстояли,
ие согиулись мы!

А этот светлый мир и вспаханные нови,
он — дар горячей братской крови,
он — солнце дружбы,
победитель тьмы!

Теперь я пью за тех,
которых нет,
которые придут на свет
через десятки лет,
тех, кто обогатит отчизну нашу,
чтобы лоза отцов цвела
богаче, и пышней, и краше,
чтоб смерть лоза переросла.
Для них подымем эту чашу,
и труд отцов,
и жизнь свою,
чтобы они руками золотыми
лелеяли,
хранили край любимый —
в труде,
и в песне,
и — в бою!

1945



ВЕСНА



— Вот и мое село, —
отстукав клювом, он сказал
и крыльями взмахнул свободней налегке, —
там, за околицей, устрою я привал.
Как жаль, что для гнезда нет больше
крыши старой! —
Так аист вымолвил на птичьем языке,
приблизившись к селу, где жил Ион Плуга́ру.

И шею, словно руль, направил он.
За тридевять земель его угнала осень,
но вновь назад его вернул закон,
священный голос многих тысяч весен.

Весь род их белый с клювом, клнном острым,
здесь вывелся и в солнечном тепле
смотрел иа домики с узором пестрым,
как здесь, в Молдавии, в любом селе.

Решили тотчас аисты тогда
облюбовать здесь место для гиезда:
где иа одной иоге на крыше хаты
могли стоять себе без всякой платы.
Как раз Иона прадеды давно
построили село пред камышами,
лягушек было там полным-полно...
Они как будто бы иарочно сами
плодились и росли в болоте том,
чтоб аисты глотали их живьем.

Одиако ж вдруг случнлось по-нному,
и как-то летом в полдень, в самый жар,
вериулся аист, только вместо дома
иашел в ограде пепел и пожар...
Так и ие зиал, куда ушел Ион;
ио где же аисту искать жилище?
Исчез надолго и скитался он,
нспугаииый войиой и пепелищем.

Но без коица по-прежнему маннла
и к перелету дальнему звала
какая-то неведомая сила,
чтоб через годы прилетел назад...
И вот он опустился близ села,
прнслушался — лишь камыши шуршат.

Потом два раза подскочил, взлетая,
и полетел устало, тяжело, —

найти хотя бы столб, навес сарая,
где б мог он вместо прежнего гнезда
свить новое, не пожалев труда.

Над пепелищем подымаясь выше,
заметил он в лощине вдалеке
какой-то новый дом с покатой крышей, —
Ион возился там среди досок,
чуть постаревший, с молотком в руке,
в пилотке, сдвинутой наискосок.

И шею вытянул в полете аист —
недаром он летел через моря —
и, над постройкой плавно опускаясь,
защелкал клювом, будто говоря:
— Привет хозяину у новой хаты!

Ион Плугару словно виновато
пожал плечами на такой привет,
радушно птице говоря в ответ:
— Прости, что крыша не совсем готова,
но завтра утром я закончу все.
Свивай себе жилье на крыше новой,
я для гнезда тебе дам колесо.

1946



ТВОЯ ПЕСНЯ



Могу ль не писать тебе, друг!
В колхозном раздолье стою,
раскинулось поле вокруг
и слу́шает песню твою.

И кажется, будто она,
возникла, крылатая, тут,
что в поле она рождена,
где пахари сеют и живут.

Орлицею песня твоя
от сердца до сердца летит,
все дальше и дальше в поля
живой эстафетой спешит.

Пылает полуденный зной,
на солнце дымясь и дрожа,
а песня высокой волной
взлетает, сильна и свежа.

И в девичьем сердце светло,
и крепнет у парня рука,
когда, расправляя крыло,
уходит напев в облака.

— А песня, не знаете, чья? —
невольно спросил я парней.
— То наша! — сказали друзья,
и грянула песня сильней.

— То наша! — сказали в ответ,
а ты, что ту песню слагал
и с нею горел и пылал,
какую награду, поэт,
себе б ты еще пожелал?

Чего пожелал бы еще,
когда ей звенеть тут и жить,
на подвиги звать горячо,
с сердцами людскими дружить?

Когда, устремленная ввысь,
слилась она с жизнью полей. . .
Будь счастлив, поэт, и гордись
высокой победой своей!



1952



РУСЛАН

Уже совсем не молод тот крестьянин,
что медленно читает вслух гостям,
таким, как он, молдавским плугарям,
рассказ о храбром витязе Руслане.
Та книга крупным шрифтом набрана,
чтоб даже небольшому грамотею
была она понятна и ясна.
Кругом сидят, шелохнуться не смея,
и каждый
с зачарованным лицом
следит глазами за седым чтецом.
А в хате чисто так подметено,
так прибрано заботливой рукою,
что кажется — хозяйкой решено
сегодня в гости пригласить героя.
И кто бы, глядя в лица молдаван,
сказал, что здесь не побывал Руслан!

Да, он пришел, герой, их сердцу милый,
и комната раздвинулась в стенах,
он грудь людей наполнил новой силой,
зажег былую юность в их глазах.
Позвал их словом правды за собою:
— Пойдем! — и все пошли
за русскою отвагой молодою
дорогой неизведанной земли.
На их глазах схватил он Черномора,
бесстрашно с ним взлетел под облака,

на их глазах темницы и затворы
повергла в прах могучая рука.
Любимую он вызволил из плена,
и вот теперь, пройдя почти весь мир,
вернувшись невредимым из сражений,
он с ними вместе светлый правит пир...

Зачитанную книгу на коленях
ласкает загрубелая рука,
и никому не хочется пока
с героем расставаться...
А мгновенья
бегут, бегут, и вот уже в оконце
бледнеет небо, возвещая солнце.

...Ты слышишь, дед из моего селенья,
задумавшийся с книгой на коленях?
Навстречу дню вставай с мечтою новой,
с любовью лучезарною твоей,
и скажем благодарственное слово
народу удалых богатырей,
что поднял к жизни сто других народов,
сдружил их с песней, радостным трудом
и с этой книгою, которую в твой дом
принес на крыльях огненных свободы!

1952



ПОЭЗИЯ



Ты вечно впереди.
Сквозь все тревоги
зовешь меня.
Но, издали маня,
ты никогда не ждешь меня в дороге —
ты каждый раз уходишь от меня.
Еще ты ни на миг не прерывала
свой путь,
и я помедлить не могу:
едва с очередного перевала
помашешь мне рукой —
и я бегу.
Твоя рука прекрасна и сурова.
Кричу тебе вдогонку:
— Пожалей!
Висков моих коснись! . . —
А ты —
ни слова.
И все трудней подъем,
и жажда тяжелей.

Но не страшна потеря никакая,
лишь только б знать,
что день вчерашний мой
опять воскреснет завтра,
возникая
в твоих прямых чертах,
в тебе самой.

Что отдых мне!
Дорога грозовая
уходит вдаль. . .
Возникни наяву,
меня тревожным ветром овевая
и обновляя все, чем я живу!

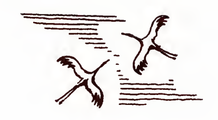
О, сколько б облака ни наплывали —
труднее стань,
мой трудный путь земной!
Не дай мне засидеться на привале,
единственная избранная мной!

Благодарю за вечную тревогу,
за то, что верность высшую храня,
вела меня,
звала меня в дорогу,
но не ждала из жалости меня!

1952



МАРТ



О сеятели, вестники весны...

Знакомы ль вам проснувшиеся степи
и дышащая теплая земля,
когда неторопливые прицепы
идут, зерно по бороздам деля?

Знакомо ль вам, как утром серебристым
забьется сердце и полна душа
покоем необъятным материнства,
когда машины сеют не спеша?

И на холмах, и у речной воды,
и вдалеке, за тихим перелеском,
повсюду тянут тракторы — да с треском! —
неговорливых сеялок ряды.

Усталое спокойствие на крыльях
приносят журавлей нам косяки,
им девичьи мечты свои открыли
прицепщицы, следя из-под руки.

Вновь из мешков потом ссыпают зерна,
и полнятся все ящики подряд,
и с места вновь срывается, проворно
работает трехрядный агрегат.

Девчонки на ходу машины чистят,
косынками от солнца заслонясь.
Нет-нет да поглядят на тракториста,
над бороздами свежими склонясь.

А он спешит, ему не до девчонок,
и только шепчет сам себе в усы:
«Боитесь вы лучей разгоряченных —
как бы в веснушках не были носы!»

О сеятели, вестники весны...

И на холмах, и у речной воды,
и вдалеке, за тихим перелеском,
повсюду тянут тракторы — да с треском! —
неговорливых сеялок ряды.

1954



НА ЦЕЛИНЕ — ПИСАТЕЛЬ МОЛОДОЙ

Владимиру Нику



На целине — писатель молодой,
о нем покуда знают ночь да звезды.
Ведет он трактор по земле седой
и пишет ручкой десятибороздой.

Веками спали желтые пласты,
и первый плуг их будит сталью чистой,
и первой книги первые листы
распаханы сегодня трактористом.

Как начинал он — не скажу о том,
но вижу я, душой с тех пор он вырос,
когда в тетрадке детской день за днем
мне жизнь его нехитрая открылась.

Он голодал по книгам до того
и брал на пробу так за словом слово,
что, как от кислых яблок, у него
был рот от букв оскомною скован.

Он от построек, выросших вдали,
был нами вызван кстати иль некстати,
чтобы его искания могли
стать утонченней и ожить в печати.

Но, видно, что искал — найти не мог
и, выехав ни с чем из Кишинева,

пришел к земле, что в сердце он берег,
вернулся к стройкам, словно в школу снова.

Чего достигнет он?.. Вдали, клубясь,
плывут на крыльях миражи, как прежде.
Он с бороздою первою сейчас
дорогу ищет для своей надежды.

Я шлю ему взволнованный привет,
как ливню после засухи жестокой.
А будет он писателем иль нет?
Ответь мне, поле, бороздой глубокой!

За то, что он вступил с пустыней в спор,
в ее пластах пробей ему дорогу.
Когда его позвал крутой простор,
не струсил он, не скрылся у порога.

И свой талант, свою мечту потом
не променял на ресторан невзрачный,
приправленный тарелкой с шашлыком
и пятизвездной крепостью коньячной.



Что он создаст? Какой возьмет разбег?
Я не гадаю наперед покамест,
но дорог мне вот этот человек
с мозолистыми, скромными руками.

1956

КОЛОДЕЦ ПАХОМА



Деды вспоминали — он был бедняком,
полжизни скитался где-то,
в родные края возвратился потом
и вырыл колодец этот.

Далекий день передо мной возник:
в степи, где вода далеко-далече,
землю молча роет старик —
заскорузлые руки, сутулые плечи.

Камень слоистый на камень напластан,
солнце восходит снова и снова. . .
Он из рук не выпустил заступ,
пока не дошел до воды родниковой.

Прочно сруб он сработал на старости лет,
и неизвестно, что делал потом он.
Может, помнили деды, но их уже нет,
остался колодец Пахома.

С тех пор изменилось многое тут.
Времена и люди уходят.
Сегодня колхозники с поля идут,
усталые, пьют ледяную воду.

Машин диковинных дорога полна —
Пахому такие не снились даже!
Вот с огненной грудью помедлит одна —
и в грудь ей льется прохлада та же.

Хорошо бы прикинуть, узнать, сколько их
побывало здесь — прохожих, проезжих,
скольким людям дал силы свежей
трудом своим сутулый старик.

Даже знать понаслышке его не пришлось им,
но о нем так же просто слова произносят,
как об этом холме, где волнуется озимь,
как о летнем дожде, что растит колосья.

1956



ИОН АГАКЕ

Высок с колокольню, мрачен и смугл,
мужик был горячий, сварливый,
со всей деревней судился он за луг,
и с братом родным — за полоску нивы.

Босой, по полям, выбиваясь из сил,
все бегал, споря с самим собой;
говорят, в карманах он землю носил
с колосьями, репейником, травой. . .

Случилось, помещик продавал именье,
в купцах, конечно, не было недостатка:
явился поп с арендой и контрактом,
а Ион — с долгами и вечным невезеньем.

Поп тугим кошельком глаза мозолил,
знал, как падок на деньгу помещик,
а Ион выставил одну горькую долю:
— Десятину и мне, хоть десятину отрежьте!

Боярин добряк, он ко всем — с участьем:
продал все именье тому, кто с карманом,
а потом еще раз — по кускам, по участкам, —
Иону Агаке и другим крестьянам.

Вышла, разумеется, жуткая неразбериха,
и драка завязалась в этом тарараме,
все село завертелось, как вихорь,
вместе со скотиной, плугами, топорами.

Мы, сорванцы, поглазеть — тут как тут,
а кто кого бьет — невдомек нам,

но помню, жандармы Иона Агаке ведут, —
руки связаны, и рубаха от крови промокла.

Поп все наставлял его, будто пел,
журил словами из Библии,
а он, обессилев, только зубами скрипел
и плевался в попа издали.

Потом как вздохнет всей душою связанной:
— Эх, батюшка, не стращай своим адом, —
мне б революцию на пять минут хотя бы,
научил бы тебя уму-разуму!..

Долго вспоминали его слова крестьяне,
а он все тягался из суда да в суд...
Так и умер: босой, с землею в кармане,
не дождавшись этих пяти минут.

1956



УМНОЕ СЕРДЦЕ ТВОЕ



Ты прочтешь ли мой стих, красивая?
Он для тебя — читай его.
В окалине мысли его воскресил я,
с тоской и надеждой отстаивал.

И с горечью.
Разве только однажды
стоял я и слушал, пока
помыкали иные важно
ремеслом моим свысока?

Невежды
оспаривал их,
но вопросы тяжелые висли:
для кого же — разве для них
стих мой, волненье, мысли?

Не напрасно.
Крикни же им:
вот — молодая, гордая, стройная,
ты ждешь этот стих беспокойный
умным сердцем своим.

Этот стих нелегкой бодрости
издалека вызван тобой,
как плугарь к тебе тянет борозды
с верой и правотой.

Пускай иные, глядящие искоса,
его отрицают полностью.
Он сумеет истину высказать
с жаждой и честностью молодости.

Неподкупные руки стиснут
руку, что пишет строку за строкой.
Может, в этом пожатии близком
будущее встретится со мной?

Ты прочтешь ли мой стих, красивая?
Он для тебя — читай его.
Со всем, что надеждой зову и силою,
его я растил, отстаивал.

1956



MEA CULPA



Нет, я не сетую на свой
на стих, медлительный и строгий,
что он прихрамывал порой
по трудно выбранной дороге.

Не это давит и гнетет,
не в том беда, что вновь газета
привычным тоном упрекнет
в неплодовитости поэта.

И это плохо, спору нет,
мне радоваться не пристало
той паре книг за много лет,
в которых всякого немало.

И это плохо, но не худо.
Я за одно виню мой стих,
и нет прощенья ниоткуда,
ни от себя, ни от других.

Я виноват в одном — что робость
порой ломала мне строку,

когда толкала низкопробность
к штампованному языку,

что примирить считал возможным
свой долг с подсказками невежд,
ценителей пустопорожних,
чей стих развинчен и несвеж,

что подпевал, приняв за мерку
тот скрип сухого колеса,
когда поэзию коверкал,
смотря читателю в глаза.

Когда студент недоуменный
мой стих с надеждой прочитал,
махнул рукою возмущенно,
отбросил в сторону журнал.

А я молчал тогда привычно
по горькой собственной вине,
и критик ставил мне «отлично»
при равнодушии ко мне.

Мой жгучий стыд и тяжесть эта —
куда от них я убегу?
Пусть даже все простят поэта,
себе простить я не могу.

1956



КРУПНЫЕ ЗВЕЗДЫ



Нынче звезды в Дубоссарах
необычно велики —
то в кустах играют в жмурки,
то дрожат на дне реки.

Волхвованием напевным
будят ночь турбины ГЭС;
бороды седую пену
о плотину чешет Днестр.

Расшумелся он, довольный
делом рук своих: — Добро! —
с новым золотом мешая
волн извечных серебро.

Грудь крепка у воеводы,
путь-дорога далека,
по столбам идет к народу
вдоль степного большака.

В клубы, в хаты,
                    в сельсоветы —
подымайся, земляки!

Входит с пригоршнями света,
рассыпает огоньки.

В села солнечной Молдовы,
по-хозяйски строг и прост,
отягченный службой новой,
вносит он охапки звезд.

Он шагает, не вздыхает,
что дорога далека.
Заставляет пустыри он
розоветь от вишняка.

Эй! Иляны-Косынзяны,
миловидные с лица,
выходите на поляны,
чтобы встретить молодца!

Он дорогой к Слободзее,
к Пересечино пылит.
Музыкантов — в переулок,
как обычай наш велит.

Хлеба свежего и соли
да хмельного — на поднос!
То ли свет спешит к нам, то ли
это ясный Фэт-Фрумос?

Вдруг явился на помолвку,
на помолвку — неспроста!
И красавица Иляна
с ним целуется в уста...

Мне, мечтателю, не веря,
сам со сказкой быль сличи —

согласишься и поверишь,
даже сидя на печи.

Видно всем, что знатный мастер
к нам пришел на этот раз;
с золотыми он руками,
с ясным блеском добрых глаз.

Одному ему под силу
помнить беды здешних мест
и о чем шептал уныло
в прежней жизни прежний Днестр.

Закрома наполнив хлебом,
этот витязь нам принес,
словно сняв с седьмого неба,
золотые гнезда звезд.

Малый рад ему и старый...
В нашу хату — в добрый час,
витязь, звезды в Дубоссарах
зажигающий сейчас!

1958



ЗВЕЗДА



За сельской дорогой прямою
есть холмик, поросший травою.

Степные цветы за оградкой,
и дата под надписью краткой.

Над красной звездой обелиска
деревья склоняются низко...

Вон там, где трава закачалась,
дорога солдата кончалась.

Сюда и донес он когда-то
короткую юность солдата.

Настигнут осколком железным,
он пал никому не известным...

Пришли сюда грустные вдовы —
простые крестьянки Молдовы,

отрыли могилу солдату,
поставили скорбную дату

и, полные братской печали,
над свежей землей помолчали...

С тех пор за оградой резною
цветы вырастают весною.

Над красной звездой обелиска
деревья склоняются низко.

Все туже лоза винограда,
все та же звезда и ограда...

К звезде этой ныне, живые,
придите, как будто впервые,

и землю плугами вспашите.
Спешите, живые, спешите!

У буков, за старой криницей,
все поле засейте пшеницей —

чтоб рядом с солдатом качалась,
чтоб жизнь его век не кончалась.

1958



МАГИСТРАЛИ



Я знаю — это будет завтра:
через столетья пролетев,
вернутся наши астронавты
в наш край земной, не постарев.

Космические магистрали
их к дальним звездам приведут,
скафандры из уральской стали
астральной пылью заметут.

В пути их встретят метеоры,
но никого не устрашат,
сквозь раскаленные просторы
земли посланцы полетят.

И за пределы света, века,
сквозь тьму космических высот
свободный гений человека
отважный разум поведет.

Но все же будет жить желанье
вернуться в милые края,
где веет ветер созиданья,
где дышит Родина твоя.

Где человеческие судьбы
мы можем все предугадать. . .
Через столетия взглянуть бы —
вернется ль молодость опять?

Так будет! Молодость, встречай!
Как ни трудны твои усилья,
астральной пылью покрывай
свои натруженные крылья!

1961



ВСТРЕЧА



Не по киижиым переводам —
по тропиикам, по холмам,
через бури, версты, годы
пробивалвсь песия к иам.

Раскрывая души иастежь,
обошла пешком иаш край,
где былв иапвсть у власти,
был последиий Николвй...

Помню зимний вечер белый,
стоиы стужи за окиом;
о своих толкуют бедах
двв крестьяиии с отцом.

В комиатеике той убогой
вижу их: Иои Золтур
и Кирика-одиоиогий,
защищавший Порт-Артур.

Ночь спускается и горько
завывает иевпопад.
Три крестьяиииа в каморке,
вьюгу слушая, молчвт.

Под роптанье снеговое
начинает вдруг один
и подхватывают двое
песню горестных годин.

Издалёка, глуховато
возникает из глубин
снеговых ночных долин:
«Як умру, то поховайте. . .»

На стене суровы тени,
и, суровые в тени,
по-крестьянски, на колени
лоб склонив, поют они.

Как четвертый — с ними слово,
друг, пришедший к ним на зов,
к трем крестьянам из Молдовы
у холодных очагов.

Не по книгам, не по буквам
это слово к ним пришло;
то ли странник, то ли путник
к ним занес его в село. . .

Через бури, через годы
слышу боль, что пелась встарь.
И за слово для народа
мой поклон тебе, Кобзарь.

И за трех крестьян Молдовы
с той натруженной судьбой,
приобщившихся с тобой
к семье вольной, новой.

1961

Д О В Е Р И Е



И было так...
Возмездие иаствло.
Металась слепо правящая стая,
история рванулась ураганом,
всех времеииых правителей сметая.

И только Ленин, лишь рассвет забрезжил,
с порога будущего оглашвя звл,
с доверием и твердостью безбрежиой
«Есть твкая партия!» — сказал.

Вся правдв в этой истиие крылатой!
Гляди,
вокруг цветут поля без меж...
Здесь иовый плуг наладил их оратай
и посадил сады больших надежд.

И люди ие склоият уже голов —
хозяевами будущего стали.
Спроси у иих про тех большевиков,
что первыми в далеких битвах пали.

Спроси о пролетариях простых,
которые пришли в наш край впервые,
сзывая самых стойких и прямых
под Ленина знамена молодые.

«Вы не томитесь в дебрях жалких грез,
добудьте правду собственной рукою,
вот — над мерцаньем распыленных звезд
восходит ярко солнце трудовое».

Да, есть такая партия!
Она
открыла миру творческие выси,
из кремня, что сложили времена,
живую молнию она сумела высечь.

Грядущее растет в лучах восхода,
и голос Ленина еще слышней сейчас,
он подтвержден доверием народа:
да, есть такая партия у нас!

1963



ЗАПИСАНО В ПРОГРАММУ

Стройные и радостные встаньте,
песни торжествующей весны!
Отворяем будущее настежь
обновленной поступью страны.

Разум коммунизма — жизни крылья!
Он источник мужества в народе,
бросил семена его усилий
в борозду живую плодородья.

Щедрое мостит просторы солнце
и сверкает радугой-плотиной.
Родина, в твоем могучем сердце
ты земное счастье воплотила.

Мудростью твоею окрыленный,
человек, мечтающий упрямо,
хочет жить по существу закона,
вписанного Партией в Программу.

Гражданина новые приметы —
гордый труд и дум бесценный клад...
Труженикам и борцам планеты
верный он товарищ, друг и брат.

В нем я вижу вольности поруку,
цельность созидателя, который,
от станка не отрывая руку,
запросто беседует с историей.

Как обнять, какой измерить мерой
путь до космодрома от сохи?

С настоящим будущее смело
в наши будни входит, как в стихи.

Входит вместе с явью и мечтою,
с теплотой трудолюбивых рук,
поднимая силой молодою
радость созидания вокруг.

Стройные и радостные встаньте,
песни торжествующей весны!
Отворяем будущее настежь
обновленной поступью страны.

Дорогие люди, созидатели,
обнимаю вас и славлю жизнь!
Мы несем Программу нашей Партии
с верой всенародной — в Коммунизм!

1961



ПОЗДНЯЯ ПЕСНЯ



Ту, что потерял когда-то,
ие ищи ты вииовато,
ие в былом твоя утрата.

Пусть ушла на холм седой,
спрятаи след ее травой,
дождевою смыт водой.

Где оиа и что ей сиится,
видят летиие зарницы,
звезды и поля пшеиицы.

Ты иочным путем приди,
к мягким травам припади
в одииочестве одии.

Приходи ее стеречь,
иа сиопы щекой прилечь,
ждать, как в пору первых встреч.

Может быть, под звездопадом
вдруг окажешься ты рядом
с тем ее горячим взглядом.

Может быть, сквозь полутьму
вздох придет к тому холму,
к изголовью твоему.

Все пойми в тиши долин
рядом с травами степными
и со звездами ночными
в одиночестве один.

1961



ПОЛДЕНЬ В ГОРАХ

Высоким солнцем раззолочен,
прохладный полдень легкокрыл.
Всю красоту зеленых сосен
он мне сегодня подарил.

Они стоят высоко, гордо,
прохладу бережно храня,
и пламенеют от восторга
глаза задумчивого дня.

День зелен,
строен,
напряжен,
он весь, как белое каленье...
Через какую глубь времен
пришло к тебе успокоенье?
Иль ты пришел стоять под сенью,
как перед дверью на замке?
Воистину — благодаренье
дверь отворяющей руке.

1964



ТВОРЧЕСТВО

Как обманчиво это молчанье над реками,
как невидимо копится в небе гроза —
собираются мысли под тонкими веками,
до поры прикрывающими глаза.

Но молчаньем натянутые, как пружины,
в бесконечности где-то распрямляются вдруг
и над зыбью инерции, несокрушимы,
изменяют привычных понятий круг.

И тогда начинает пульсировать камень,
словно в камне пульсирует кровь:
из материи мертвой у нас под руками
возникает живая материя вновь.

Так неистовствуй, вновь возникая из камня!
Гордой молнией мысли пронзи высоту!
Будьте вечны и будьте бессонны, искания,
осязаемой делающие мечту!

Сквозь наветы посредственности и запреты
к этой цели, что брезжит всегда вдали,
пробивайтесь и ярко горите, поэты,
работяги и труженики земли!

1964

ИНОЙ ФИНАЛ

Все было таи — добро и зло,
ио в древиий миф не все вошло.

Когда распятого на зубьях скал
орел терзал, живое тело рвал,
то дерзиому, сорвавшему звезду,
от пытои не даио было погибиуть,
а хищиик ии иа миг ие мог его покииуть,
прииованный и проилятому труду.

Там был и третнй.
Миф ие рассиазал,
но рысиал у подножия шаиал.

Он трупа ждал, сиуля иа страже.
Захлебывался собствеииой слюиой
нетерпеливый и бессильиый вой:
иогда же, накоиец?
иогда же?

А на граинте
в сирежете борьбы
жестоию обиовляется и длится
великая трагедня судьбы,
не умещаясь в жажде поживиться.

Тогда у тварн узиолобой
вдруг печень лопнула от злобы,

и трижды скрючился шакал
и в бешенстве свою утробу,
клыками лязгая, сожрал.

Пусть миф молчит!
Но — вот фиивл!

1964

ДОБРЫЙ ЗНАК

Не с каждым было так...
Ко мне, ища опоры,
затравлен, одинок,
прибился пес у ног,
спасаясь от погони живодеров.

Не верите, ну что ж...
Я радуюсь той встрече:
забитый, в западне,
прижался пес ко мне,
по-своему поверив в человечность.

1968



ИНОГДА ПЕРЕД РАССВЕТОМ...

А иногда перед рассветом
меня встречает где-то в поле,
как брата,
надежда нивы молчаливой
в покорном ожиданье.
Круг созреванья мудро завершая,
стоят хлебов тяжелые колосья,
всем существом прося
присутствия людского.

И значит, мне положено быть там,
в великом их молчанье
заодно,
как под крылом природного родства.
И там,
когда я кровно нужен полю,
угадываю будущие всходы,
в которых вечно верит плодородье.

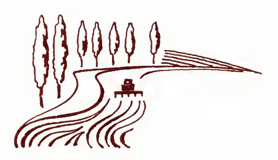
Я принят в этот круг
и раскрываю
естественную связь произрастанья
с душою пращуров,
с наследственною сутью.

А горизонт горит вулканом, словно
к последнему взывает пробужденью,
и я очнусь как будто обнаженный
перед лицом космической судьбы,
превосходящей и меня и землю.

Тогда как опасение, как боль,
во мне растет приверженность к живому
и собирает мне
детей, и внуков,
и внуков правнуков моих,
чтоб я приблизил их к себе,
и понял,
и неотступно их сопровождал
среди людей,
насколько им грядущее позволит.

И я прошу у будущего доли:
труда,
и хлеба,
и пощады
прошу я для моих потомков.
Пощады! —
сгорбленный, взываю
в надчеловеческом кругу восхода.

1969



ПРАВО НА ИМЯ



Достойное — достойному к лицу.
Ты береги его сильней зеиицы ока!
Оио от дедов перешло к отцу,
тебя ища,
из древности глубокой.

Когда водоворот тебя закружит
или возвысит месть клеветииков,
ты обрати в опору и в оружье
его вовек неистребимый зов.

Ты победишь!
Прими закон сражеиий —
иди с друзьями верными своими.
А если не уйти от пораженья,
то будь самим собой —
неси достойио имя!

Вражду и кривду встретишь иа веку,
сквозь горести пройдешь и иеудачи...
Разбитый, соберись по черепку,
еще есть шанс — ои имеием оплачеи.

Неси, как правду, имя!

1969

НЕМАЯ ПЕСНЯ



Слова, которые слышны, —
ты слуха к ним не приклони!
К чему тебе они —
напрасные осколки тишины?

А те другие,
те, что для тебя
и выстраданы именем твоим,
они обратно падают мне в кровь,
как про́клятые,
с трепетом глухим.

Там за словами,
за их гранью,
мой крик испуганный, к тебе
не долетая,
в гулкой бездне канет.

Из слов моих
лишь те, что, мысль губя,
безумием украдены у речи,
тобою никогда, нигде не встречены,
ты их ищи,
они лишь для тебя.

1967

ДОБРО НОСЯЩИЙ



Носитель вдохновенного порыва!..

Он среди нас. Свеченья не тая,
возникнет из глубин, внесет счастливо
нетленный час в мельканье бытия.

Я встрепенусь, рванусь из безучастья.

На том пути, что вытоптан и стар,
знакомый тот чудак, мой гость нечастый
приносит «с добрым утром», словно дар.

К добру такая встреча и к удаче!

Вновь разум бодр, двужилен и силен,
и день твой новый начат не иначе,
как радостью рассвета окрылен.

Свой груз спешат увечные на плечи
ему взвалить.
Но в сердце торжество,
и радугой свершений человечьих
увенчаны все замыслы его.

Сумей постичь среди круговорота
смиряющей привычки бытовой
носителя нечаянного взлета
и необыкновенности земной.

Прибавится к живой странице книжной
легенды ежедневная строка:
он — долга расточительный подвижник
и вольный нашей совести слуга.

Не сбей его с пути затеей зряшной!

Ключа незамутненная струя
меня зовет. И с ним я пью бесстрашно
привычную суровость бытия.

1968



ВОСХОЖДЕНИЕ САДА



За сколько весен вырос, сад ты мой,
моя любовь без пятен и упрека?
Шли садоводы встретиться с тобой,
но из какого шли они далека?

Пойдем по следу памяти назад,
где ты из недр тянулся молчаливо.
Еще нигде не признанный как сад,
ты стал листвой вызванивать призывы.

Хрустальной гроздью на исходе ночи
зажглась заря над тихими холмами...
Ее встречали в хижине рабочей
с прогнившими от времени дверями.

Сгонял рабочих безработный год,
сводил студентов, грузчиков с вокзала.
Мечты росли до облачных высот,
а хижина в страну перерастала.

И ветры сильные вдруг сотрясли сердца,
сплетая волю с правдой воедино, —

в умы, что были тяжелей свинца,
простое слово Ленина входило.

Как будто поле, выжженное в зной,
под светлый дождь негаданно попало
и в глубь сердец, как в борозды, зерно
ложилось, чистое, и прорастало.

Сначала там ты встал, как вещий сон,
с плодами огненными и листвой поющей,
бессонными трудами окружен, —
дитя народа, сад его грядущий.

И отдыха никто уж не просил,
а саженцы твои пошли гулять по свету,
и набирался дерзости и сил
голодный люд от сока твоих веток.

«Мы яблони посадим и в пустыне,
великим заповедям пахарей верны,
из уст ключей немые камни вынем
рукою крепкой, жаждущей весны».

Примите чистую, вам отданную кровь,
холмы зеленые и Днестр —
наш буйный пращур!
Гроза валила тысячи стволов,
сжигая их в объятиях горящих.

Спустились сумерки, с лугов ушли отары,
возле Бендер шумит и стонет сад,
весенняя красавица Тамара
своих надежд разыскивает клад.

Я слышу звон цепей и топот ног, —
сквозь ночь их гонят злой конвой и вьюга...

Кисловский,
Шехтман,
Двоскин
и Кручок
четыре верных коммуниста-друга.

Три медных голоса, четвертый — серебро:
«Вставай, проклятьем заклейменный. . .»
В последний раз вы песню взяли в строй
и песню подняли как стяг непокоренный.

И вдруг метнулись птицы одичало
из гнезд своих, когда раздался гром. . .
Тамара их в полете увидала
при вспышках выстрелов
над бешеным Днестром.

Горячим пурпуром в лицо плеснула кровь,
потом холодной тьмой глаза заплыли,
и каменели в глубине зрачков
сады, которые они не посадили.

Но как погибнуть им, когда так яро
они корнями твердь земли пронзали,
когда их братья и сестра Тамара
их завязь теплой кровью поливали?

Но кто и как убить сумел бы веру,
когда она пути не знает вниз,
когда она в себе вместила зру —
свободу, землю, правду, коммунизм!

И сеятели из глубин вставали,
была душа их, как родник, светла. . .

Я видел, как жандармы убивали
простых парней из моего села.

Светились души верою в Советы,
в поля, не тронутые первой бороздой, —
и двинулись, как братья, люди эти
из темной безызвестности на бой.

Поговорю я с яблоней упругой,
той, что всех выше тянется в зенит, —
пусть имя сельского учителя и друга
с ее листвы на сотни верст звенит.

Меня он обдал пламенем горячим
живой мечты, священной, как зарок;
уйдя в поля, где класс его батрачил,
он начинал с крестьянами урок.

Из ихней злобы — смелость двигать горы,
из молодости — веру в них ковал,
партийным словом, взрывчатым, как порох,
будил сердца и разум зажигал.

И после пыток виделся я с ним,
но память сохранила мне иного —
запомнил я его, как ртуть живым,
в порыве дум и слова огневого...

Друзьям тех лет он посылает знак, —
чтоб каждый яблоню растил ему на память...
Мой друг Антон — товарищ Гадияк,
вовек тебе не стариться с годами!

Все мнится садоводам седоватым,
которых грамоте когда-то ты учил,

**Что ты еще ровесник их ребятам —
каким ты в битве вечным сном почил.**

**В своем наречии, в граните, в небе синем
храни всегда их образ, край родной, —
сынов и братьев, павших, чтобы ныне
твои сады шумели над страной.**

**Чтобы деревья, чуть звеня листвою,
стояли вечным у дорог дозором;
легенды, что несут они с собою,
прошли к нам сквозь железные запоры.**

**Они друзей сзывают в час заката,
призывный клич бросают по утрам:
— Резвитесь вволю, парни и девчата,
глядеть на вашу радость любо нам!**

**Добро пожаловать веселой вашей рати —
из наших чаяний и золотого сна
на эту землю, где отцы и братья
посеяли надежды семена!**

**Любовь, горевшая костром неугасимым
в сердцах моих суровых земляков,
добро пожаловать тебе на эти нивы, —
в жизнь пахарей и новых кузнецов!**



**Ты с ними будь и близко и далеко
всегда живым дыханием весны —
в больших делах, грохочущих потоком,
и в поздний час сердечной тишины!**

1964

ВОСПОМИНАНИЕ О КОСАРЯХ



Волной приливной всходит в памяти
ковер с горицветом и клеверами.
Ранняя свежесть в цветистой замяти —
как побужденье доверья меж нами.

Давнее утро, в неуловимой дали,
для душ, объятых трудом и мужаньем,
косы звенели, бруски стучали
многоголосьем над мирозданием.

Клеверное поле в приливном цветении
близилось, искрилось в переливах лета,
будто мы шли совершать омовение
прохладою утра, надеждой рассвета.

Мужчины и женщины — за спинами косы —
шагали по-крестьянски, радуясь и споря,
и я спешил с ними, обивая росы,
к седому, к цветущему клеверному морю.

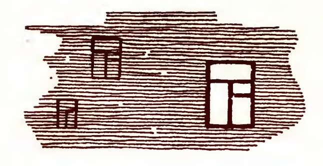
Словно собиралось на совет чистосердечья
сословье земледельное, земли неимущее,
для чтенья грамоты с горестями вечными
и судьбой несбывшейся, но уже грядущею.

Косою не кошено, словом не высказано —
за далью лет в это поле не верится.
Но тот рассвет остался единственным,
который вовек закатом не сменится.

1974



ВЕЧЕР С ДРУЗЬЯМИ



Неброская отвага без шпаги и забрала
и мужество и верность в сердцах без лишних слов,
откройте мне, как прежде, своей весны начало,
несуетную радость естественных даров!

Обычные трудяги, не на виду их сила
была, копя надежду среди годов глухих, —
таких людей лишь совесть из тени выводила,
по самой жесткой мерке отмерив доблесть их.

Как повезло тебе, что так твой путь сложился,
что редкостные люди с прекрасною душой
в ту пору безвременья твоей коснулись жизни
десницей дружбы, верною рукой.

Вершины указали и вызвездили дали,
вернули свет признанью и право естества,
и в свой верховный час товарищем назвали,
своей мятежной искрой зажгли твои слова.

С тоской неутолимой ищу, зову обратно
когда-то неразлучных, как с молодостью песнь,
безвременно ушедших, столь многих безвозвратных
и столь немногих рядом, совсем немногих — здесь.

Их образы живые в мерцанье поздней памяти,
нетронутые временем, проходят чередой,
как вечное стремленье их молодости пламенной
сквозь тяжкий строй судьбы, грядущих весен строй.

За тень ее хватаюсь обеими руками,
немеркнущего взгляда упорно ищет взгляд,
чтоб сердцу обновиться горячими волнами
высоких приказаний и беспощадных клятв.

В час добрый бденья — слышишь? — согласно и упрямо
стучат сердца друзей, и звук их чист, как сталь.
Как будто вновь, как прежде, взмывают к сердцу прямо
Икаров павших крылья — все выше, выше, вдаль!

1978




Баллада
о Василе

Игра

По горе тропа-дорога
шла то круто, то полого
до вершины по отрогам,
по обветренным порогам.

Осмотрительно, с терпеньем
поднимаясь по ступеням,
до скалы дойдешь вершинной
с белокаменной плешиной.

Здесь, под небом, стоголосо
оглашаются утесы
в день урочный огольцами,
крикунами-сорванцами.

Всей окрестности известно —
оживает это место
буйных сборищ и веселий
в самый первый день весенний.

Лишь подснежником повеет,
пацаны спешат скорее
хлынуть на гору оравой
с гиком, шуткой и забавой.

Им ведь море по колено —
не ища тропы-ступеней,
рвутся босиком, но гордо
прямиком на гребень горный.

В этом гомоне и гоне
вспоминают здесь, на склоне,
о Василе незабытом,
незабытом, знаменитом.

Мальчуган он был отважный,
озорной и бесшабашный,
и стремительный, и быстрый —
из-под ног летели искры.

Вырывался он из гущи,
обгоняя всех бегущих,
на скалу взбегал оленем
по порогам, по ступеням.

Первым на вершине голой
появившись, во весь голос
возвещал он что есть мочи
срок весенних полномочий:

«О-го-го, еще разочек!»

А потом уже с дороги
откликались все пороги,
отвечали эхом длинным
все, бегущие к вершине.

Отпускали с ходу шутки,
рассыпали прибаутки,
а ручьи по снегу рядом
клокотали водопадом.

Камень

Снова свежий ветер вешний
повторял зачин свой прежний,
а Василе шел по тропке
молчаливо, неторопко.

Нет, не гасли в сердце искры,
просто он, оставив игры,
шел теперь с киркой и ломом
на скалу путем знакомым.

Среди каменщиков, кстати,
выделялся он не статью,
не размахом, не разгоном —
просто возрастом зеленым.

Среди тех каменотесов,
в чьих усах белела проседь,
вырубал он поневоле
первый кус рабочей доли.

Угловатым парнем, смелым
так он вырос между делом;
тополь в роще тополиной
и среди мужчин — мужчина.

В те лихие, злые годы
на Василе шли невзгоды
скопом и поодиночке,
пробуя его на прочность.

**Но в любую заваруху,
как домашнюю краюху,
суть свою хранил упрямо
и делил ее с друзьями.**

**Не робел, где неудача,
а просил еще, в придачу,
молодецкая повадка
в нем бурлила без устатка.**

**Если туго вдруг мужчинам —
выходил вперед с почином,
и заминки и заторы
юным побеждал задором.**

**Но когда ветра кружили,
то скучали по Василе,
будто бы его вначале
все искали, выбирали.**

**Как всегда искали, снова
находя его готовым
взять подъем открытой грудью
напролом по первопутью.**

**Вырываясь вновь из гущи,
обгонял он всех бегущих,
на скалу взлетал оленем
по порогам, по ступеням.**

**А потом, как прежде, гордо
он вставал на гребне горном,**

набирая грудью с хода
влагу первую восхода, —
бросит клич ему в охотку,
он с вершины во всю глотку
сорванцов зовет на сходку.

Оружие

Помнит все село большое,
говорит о первом бое
после первой мировой,

как пришел домой Василе —
немцы пулю в бок всадили —
хмурый и полуседой.

Возвратился он с винтовкой
и затеял подготовку:
обходил село не раз,

бередил он боль людскую,
корень зла и долю злую
выставляя напоказ.

— Императорам проклятья,
всем царям да без изъятья!
Вы спросите их, где братья,
где отцы и сыновья?

Что осталось вам — смекай-ка;
только голод и нагайка

да хвороба-негодяйка —
ин иадела, ии жилья!

Он лечил людей ие жалью,
не сочувствием-печалью —
гиевом сердце изошло.

Клялся пулей и прикладом,
звал пойти за Петроградом
ои молдавское село.

Гиев — ои хоть кого подымет!
Даже матери с грудиыми
вышли иа апрельский шлях,

справедливость взяв с собою,
прямо к бариву толпою
заявились иатощак.

— Выйди, барии, иа крылечко,
слушай редкое словечко
по закоиу мужиков:

землю нашу н угодья
отдавай-ка, благородье,
и мотай без лишиих слов!

Припоздали с речью, впрочем,
потому что барин с иочи
собрался — и иаутек.

— Что ж, нам это ие обидно,
ведь ие с просьбой-челобитиой
мы пришли на твой порог.

Раз ты загодя дал дёру,
знать, согласен с разговором
тем, что мы приберегли.

Плюнь, народ, на эту свору!
Ну-ка все на нашу гору,
посоветоваться впору
относительно земли!

Смеркается

Слышишь ли, как снежным комом
прокатился он,
этот клич из дома к дому,
словно тяжкий стон?

Ни оружья, ни дреколья —
скопом, напролом
из села голодный голод
хлынул всем селом.

То вразброд, а то ватагой
хлынул в постолах,
в перелатанных сермягах,
в старых зипунах.

В день тот небо низколобо
облаками в ряд
навалилось, как сугробы,
зиму звать назад.

Но по оттепели стылой,
будто бы катком,
все село на холм вкатило
свой протяжный стон.

Люд глядел на снега клочья,
месиво и грязь,
точно увидал воочью
землю в первый раз.

Глянул сверху, вкруговую —
воле исполать! —
обнимая ширь земную,
ту, что не объять.

Музыку бы, в самом деле!
Но в других местах
со знаменами у цели
песню их другие пели
в сомкнутых рядах.

Ну, а здесь, Василе внемля,
люди без певца
узаконили на землю
право до конца.

Лишь Василе за собою
вел народ спеша:
как полотнище живое —
вся в крови душа.
. . . .

Слышишь,
постепенно гаснут
в далеке глухом
и преданья и рассказы
о совете том.

Ты, баллада, сквозь событья
начала разбег,
но разведкой без прикрытья
канула навек.

По тому холму проходит
изредка молва,
все трудней в былом находит
лица и слова.

И редеют очевидцы
и, скупясь, молчат
и свидетельства крупицы
бережно хранят.

Небогаты сбереженья,
лишь назло годам,
вырывают у забвенья
правду по клочкам.

Спотыкаются искания
о пустой утес —
ветер вечного молчанья
сведущих унес.

Хроники не отразили,
документа нет,
как собрал и вел Василе
первый тот совет.

Неотложиые вопросы
у мужей наук,
подойти к тому утесу
все им иедосуг.

И теряет без возврата
в ветровой пыли
бессловесную балладу
черновик земли.

Великий час

Но зато судьбу Василе
дии другие завершили
иезабвенною строкою
через год, второй весиою.

Завериула непогода:
здесь не выжила свобода,
отступила, скрыта далью,
раиеиа огнем и сталью.

Возвратясь, беглец помещик
месть придумывал похлеще,
ои искал Василе рьяно —
большевицкого смутьяиа.

Непростая зто штука:
у того — везде порука,
рощи, и леса, и реки,
яаки, тайные ночлеги.

А еще под облаками
на холме надежный камень,
высоко, на той площадке —
камень в круговой укладке.

Мироед, чтоб с ним покончить,
обзавелся сворой гончих,
пулей, страхом, злобой лютой,
сигуранцей да Иудой.

Торопились те с расправой,
и — облаву за облавой,
и случилось, что Василе
ранним утром затравили.

Помнят люди злую пору:
он по изморози в гору
побежал, на скользком склоне
оторвался от погони.

Он отстреливался метко,
мчался белкою по веткам
до укрытья на вершине,
где скала да белый иней.

Знать, удел такой назначен
для его души горячей.
Счастья кто искал и боя —
не видать тому покоя.

Так назначено солдату —
на себя да всю расплату.
Вновь идет весна по свету,
одного — зовет к ответу,

чтоб без страха он винтовку
к бою взял наизготовку,
встал лицом к лицу с судьбою,
как предписано герою,

чтоб в конце концов с вершины
в них катил камней лавину,
чтоб честил и крыл, неистов,
тех, кто сворой шел на приступ.

А с околицы следили,
камни как швырял Василе,
отзывались болью-стоном,
что остался без патронов,

что вот-вот ударит скоро
час великий приговора,
взыщет мздой-ценой огромной
лишь за нрав за неуемный.

Высший случай неминучий
выбирает в битве лучших,
чтоб за всех отвагой-верой
расплатились полной мерой.

Положившего начало
помнит твердь, хоть промолчала,
и судьба, уж как ведется,
не щадит первопроходца.

На холме, на той вершине,
отступал под солнцем иней,
ветер дня прошел, ероша
холм, сухой травой обросший.

Заструился снег подталый,
вея запахом фиалок,
и ручьи невиновато
заиграли, как когда-то.

Но Василе все не падал,
все честил он супостата
и держался в час расплаты
на вершине, как когда-то,

как стоял он выше прочих
тот крестьянский сын, рабочий,
возвещая что есть мочи
срок весенних полномочий...

О-го-го, еще разочек!

1967





Зов из легенды

Поэма

1

Давно ищу я путь
к тебе, Тамара.
Призывный свет любви твоей далек —
из юности,
из огненного дара
твоей судьбины,
дочь земли,
Тамара Кручок [1].

Отсюда
через горы лет зову
начало слов моих,
надежд смятенье,
чтобы назвать их предопределеньем,
и истиной назвать
и воплощеньем.
Там первый зов «Познай!»
мне приказал,
и я увидел там того, кто знал.

То путник был.
Он к нам пришел нежданно.
Стоял, едва в дверной проем вмещаясь,
так, будто он
плечами дом держал,
новопришедший этот,

---

[1] Тамара Кручок (1897—1921) — героиня бессарабского коммунистического подполья, партийный курьер, убита сигуранцей.

глядя прямо
в мои завороженные глаза.

Вся суть во мне воскликнула: «Спроси!»,
и осмелела мысль для постижения.
Рукой раба коснулся я его
и ощутил, как падают оковы.
Тогда посмел я в дом его позвать,
чтоб сел с людьми на тесаную лавку
средь тех,
кто с жизнью связывал меня,
кто бился в обреченности, как в путах,
и, как проклятье,
нес свою судьбу.

И он вошел,
и он остался с ними,
натруженный,
усталый, как они,
неугомонный, полный беспокойства
и не познавший страха человек.

Исхлестанный ветрами всей земли,
он нам принес ее просторов свежесть
и знание,
чтоб мы срастались с ними,
чтоб стало нам надеждой
и защитой.

А ты была
взращенной в нем судьбой:
вся истинность мышления его,
вся молодость и вся неустрашимость
через тебя легендой становились.

Он раскрывал передо мною время
и очищал глаза мои росой,
чтоб я читал во времени,
как в книге,
и ты была в душе моей,
когда
тебя назвал он дочерью отваги,
любовью к жизни он тебя назвал,
что вышла на великое сраженье.

В последний и решительный пошла...

2

К тебе взывая из глухих ночей,
вся боль моя возникла с первым криком.
А я —
я шел за бытием твоим,
с собой не примиряясь и себя
коря своею песней без надежды.

«Любимая в тайне, во мгле,
луч жизни в дороге,
поэма в крови на земле,
как шепот тревоги.

Любимая тленна
и горько чиста,
в оковах мечта,
холодные стены...

Убито рождение дня,
но вера, цепями бряцая,

сверкает над миром святая
глазами живого огня.

Где мужество нашего сердца,
чтоб злобу стереть, как позор,
чтоб воля воочью воскресла,
уйдя из тюрьмы на простор?

Ты, чистая наша любовь,
борьбы нашей юность прямая,
пусть голос твой слышится вновь,
из пепла живых поднимая!»

И молодость твоя жила крылатой,
и нашим мыслям ты повелевала,
и простота твоя дошла до нас
всей правдой,
всей усталостью девичьей
и всей непокоренностью дыханья,
пока не наступил последний час
последней тьмы,
окутавшей сознанье.

3

Я в трудный путь отправился —
искать
в неутолимой жажде проясненья
твои глаза,
хотя б в осколках утра,
на тех дорогах, где твои следы
на рубеже кровавом пресекались.

Я спрашивал у близких,
у людей,
кому я поверял от сердца мысли,
как отыскать тебя,
в какое время
войти к тебе в страну твоих трудов,
где ранняя роса тебя запомнит
и мурава примнется под ногой.

Ведь я хотел
одну тебя спросить
о той мечте, что есть сама судьба,
врастающая в души, как привой,
о вере — окровавленном цветке.
Спросить хотел —
во сне или воочью, —
какою же немыслимой ценой,
какою жертвой
платишь ты за веру,
за правду всю, до самого конца.
Хотел тебя спросить:
как быть,
Тамара?

Но люди,
все, кому я мысль вверял,
но братья, не желавшие смиренья,
не отвечали на мои расспросы,
смотрели вдаль
и сдерживали боль,
чтобы сберечь тебя хотя бы в сердце,
не выплеснуть ни криком и ни плачем.
Ты оставалась правой и прямою,
святою в нетерпенье молодом,

украденною первою любовью
без пятнышка на образе живом.

. . . Стучал в ворота,
в двери колотил,
но за дверями долгое молчанье,
похоже, становилось все угрюмей.
Бродила мысль во тьме,
средь тусклых окон,
средь очагов, заброшениых людьми,
скиталась по оврагам придиестровским,
бросая крики ветру. . .
Только теиь,
лишь тень твоя на зов мой отвечала,
а может,
тень теней моей тоски
вдруг отзывалась глухо за горой:
«Меия здесь нет,
ступай домой,
домой. . .»

4

Да в самом деле, так ли это было?
Да разве все молдавские колодцы
ие видели тебя к воде склоненной,
как образ расцветающего счастья
иад углубленным зеркалом воды?
Да и сама Молдова —
всем дыханьем,
людьми,
и песней,
и осенним садом,

и этим одиноким декабрем,
стучавшим с черной вестью в двери хижин, —
что ж, разве вся Молдова не нашла
ковров крестьянских,
белых полотенец,
чтоб, как невесте, комнату украсить
и свет зажечь в окошках для тебя?

Ведь ты несла надежду молодую
измученным, изверившимся людям,
их труд земной отогревала ты
девичьим сердцем, мужеством своим,
и ты была для них как обещанье,
самим восходом посланное им.

О да, тебе навстречу свет в ночи
горел в домах
и звал тебя на отдых
с неловкой радостью чернорабочих,
с приветностью крестьян неговорливых.
Ты им была родною, как сестра,
они лепешки ставили на скатерть,
готовили тебе льняное платье,
беленное рукою материнской
и стиранное утренней росой,
чтоб ты одела
девственное тело.

5

И я был с ними,
и моя надежда
была на страже
в долгом ожиданье.

Отъезды были далеко-далёко,
и были возвращения опять,
была судьба,
суждеииая тебе.
Ты нас звала,
ведь ты сама была
неутомимым голосом призыва,
и нам ты ие давала передышки,
и звезды встреч
светили не для нас.

Я с ними был —
я словио бы работал
на том же поле,
с тою же мечтой:
наш общий плод
вскормить своею жизнью,
мы — с этой стороиы,
а ты — с другой.
И был твоею верой
деиь свершенья,
затоптаиной,
убитою
и все же
в тебе живущей вопреки всему.

О, ты знала цеиу встреч!

Как много раз ты пожимала руки
товарищей
горячими руками,
любовью отвечая иа любовь!
Ты, благовест, живой цветок свидаиья,
ты, вечный Зов,

невеста наших снов,
ты, первая любовь,
скажи нам, чем
венчать твою воинственную веру?
Небесным солнцем?
Всей страной?
Землей?

Вот мы,
с Днестром, навеки обретенным,
с друзьями моей мысли,
с этим садом,
круглящимся на золотом закате,
склоняемся в поклоне пред тобой,
перед твоей
девической тоской.

Здравствуй, Тамара!
Тамара, со встречей!
Добрый вечер!

1973



СОДЕРЖАНИЕ

Для старшего возраста

Лупан Андрей Павлович

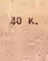
ДОБРО НОСЯЩИЙ

ИБ № 4410

Отиетстаенный редактор *С. И. Губарева*. Художественный редактор *Т. М. Токарева*. Технический редактор *Е. В. Пальмова*. Корректоры *Э. Л. Лофенфельд* и *Т. Н. Чернова*. Сдано а набор 21.01.80. Подписано к печати 28.04.80. Формат $70 \times 100^1/_{32}$. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л. 4,61. Тираж 100 000 экз. Заказ № 10. Цена 40 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательстао «Детская литература» Государстаенного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москаа, Центр. М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглааполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Сонетская, 7.







40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Андрей Лупан * Добро носящий